

ROMAN SZUBIN

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

ПРОГРЕССИВНЫЕ И РЕГРЕССИВНЫЕ МИФЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Проблема мифологического мышления. Александр Пушкин «солнце русской поэзии» (Владимир Одоевский), «наше всё» (Аполлон Григорьев), «брат всех людей, всечеловек» (Федор Достоевский), «Пушкин в 'нулевой' точке, откуда становится видно во все стороны света»¹ (Лев Аннинский) и т.д. — эти и другие высказывания показывают, что значимость великого русского поэта в большой степени обрастает мифологическими мотивами. Но в этом мифе содержатся различные пласты, связанные как с откровенными мифотворчеством, так и с когнитивными установками русского самосознания, ментальности и даже научного сознания. История русской литературы в ее наиболее значимых периодах, переходах и точках описывается в мифологических категориях: например, «золотой век» русской литературы, следующие за ним «серебряный», «бронзовый» века напоминают миф о золотом веке. Сюда же можно отнести и поиски прогрессивного, целеполагающего смысла того или иного произведения, дидактичности и идеологической корректности и т.д. Другой после Пушкина писатель, о котором также можно говорить как о мифе, это Лев Толстой, «патриарх» русской литературы (Дмитрий Мережковский) и «зеркало русской революции» (Владимир Ленин), оставивший заметный след в сознании русской интеллигенции.

С другой стороны, писатели, так сказать, второго плана (о самой этой категории подробно будет сказано ниже), представители позитивизма, демократического движения, ставящие

¹См. Ю. Дружников, *Дуэль с пушкинистами*, Хроникер, Москва 2001, с. 329.

своей целью подрыв мифотворческих установок, также занимаются утопическими проектами. Яркий пример — Николай Чернышевский. Да и писатели-демифологизаторы, модернисты и постмодернисты (Владимир Набоков, Дмитрий Галковский) для обоснования своей демифологизирующей политики нуждаются в метамифологии субъекта самосознания — «человека, уверенного в собственной гениальности»².

В данной статье исследуется мифотворческий и литературоцентристский пласт русского самосознания. Нашей целью является демифологическое прочтение ключевых мифов, связанных с крупными писателями, и стремление отделить мифотворческие установки от концептов, которые отлагаются в русской ментальности. За основу герменевтического метода (по принципу самообъяснения — *scripta sola*) взяты важные положения филологической герменевтики, разработанной армянским русистом Варданом Айрапетяном (1948 г.р., в настоящее время живет в Ереване), а также дополняющее «герменевтику слова» исследование Армена Григоряна (в настоящее время живет в Москве) о культурных архетипах.

2.0. Избегая (за недостатком места) глубокого проникновения в герменевтику слова, обозначим лишь некоторые положения ее концепции³.

2.1. Учение о трех типах мышления — концепция Айрапетяна. Последователь Михаила Бахтина, ученик Владимира Топорова и друг Владимира Бибикина (а также редактор бибикинского перевода на русский *Бытия и времени* Мартина Хайдеггера), Вардан Айрапетян является создателем альтернативной семантическому, семиотическому и структурному подходу герменевтической, в понимании автора — толкующей, толковательной (не без аллюзии на старославянский перевод евангельской заповеди «толците и откроется вам») науки о значении слова. Центральное место в ней занимает учение о трех типах мышления: революционном, консервативном и мифотворческом, — и о двух триадах, двух культурных порядках.

² Д. Галковский, *Бесконечный тупик*, Издательство Дмитрия Галковского, Москва 2008, с. 228.

³ Основные тезисы «герменевтики слова» представлены в нашей статье *Thumacz contra twórcy. Kreatywność w hermeneutyce Wardana Hayrapetiana* // Н. Chałacińska, В. Waligórska-Olejniczak (ред.), *Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze*, UAM, Poznań 2014, с. 153–167.

Михал Гловиньски в книге *Mity przebrane*, исследуя многозначность и многоликость интерпретаций мифа о Прометее, показывает, насколько плотно европейская литература связана с этим мифом — во всех ее вариантах вплоть до пародии и гротеска⁴. Если же перенести этот миф на русскую почву, то скорее всего не Прометей станет главным героем русской литературы, а его глупо-мудрый брат-близнец Эпиметей («Задний ум»), трикстер, делающий все наоборот, думающий «задним умом», вразрез с гуманистическим планом Прометея.

У Айрапетяна близнецный миф приобретает следующее преломление: консервативное мышление, обозначенное Эпиметеевой триадой дело-слово-мысль, архаично и естественно. Для такого познания, обращенного к первому началу (слову), приоритетом обладает «старший, первый по времени», «порядок по старшинству», «причинный порядок», а «старшее есть главное»⁵. Оно свойственно герменевтическому типу познания, общинно-родовой личности, для которой слово старше мысли: «Но хотя моя мысль старше моего слова, чужое слово всё равно старше моей мысли»⁶. Поэтому эпиметеева личность определяется через рост как движение на месте и слово говорящего мирового человека⁷, представляющего собой демифологический вариант понятий «Бога-Спасителя» и «Божественного слова». Эта герменевма выведена из русской поговорки «Мир велик человек» и соотносится (но не отождествляется) с мифологемой первочеловека, а фольклорного Ивана-дурака представляет как «образцового мирового человека».

Европейская же культура, согласно Прометеевой триаде мысль-слово-дело (ср. «Передний ум»), выстроилась в «порядке по главенству», в «безоглядном» движении к новизне и будущему, в ориентации на второе начало (мысль), вторую природу. Этот прогрессивно-революционный, интеллектуально-промышленный путь связан с «воплощением слова в дело,

⁴ M. Głowiński, *Mity przebrane: Dionizos, Narcyz, Prometeusz, Marcholt, Labirynt*, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1994, с. 84–106.

⁵ В. Айрапетян, *Толкуя слово. Опыт герменевтики по-русски*, Институт философии, теологии и истории св. Фомы, Москва 2011, в52, в521. В силу того, что данное исследование по форме состоит из ризоматической сети комментариев, цитаты приводятся с указанием буквенно-цифрового фрагмента.

⁶ Там же, в533.

⁷ Там же, б316 и далее по указателю.

самой революционной из всех человеческих мыслей»⁸. Для революционного мышления мысль главнее слова, «главный, первый по важности» — это младший во времени и новый по сущности «целевой порядок», «младшее есть главное»⁹. Для прометеевой личности характерно поступательное развитие, идея прорыва, движения и прогресса.

Третий тип мышления — мифотворческий — выражается формулой «главное есть старшее»¹⁰ и предполагает перенос младшего по времени главного в позицию старшего. В основе мифотворчества заложен анахронизм, который Михаил Бахтин описал как «историческую инверсию», порождающую мифы о золотом веке, древней правде, «о естественном состоянии, о естественных, прирожденных правах», поиск «начал» и «первопричин», эсхатологические представления о конце времени¹¹. К мифотворческому мышлению относятся мессианские, эсхатологические и религиозные представления.

В то же время Армен Григорян предполагает, что мифотворческое мышление вырастает в оба типа личности: мыслящую Прометееву и общинную Эпиметееву, — хотя и приобретает различный характер. Если приписывание «старшинства» главному, но младшему идеально-логическому компоненту провоцирует «историческую» инверсию, свойственную прогрессивным культурам и рациональному мышлению, то эпиметеева личность, как первая по времени, изначально погружена в миф, в предысторию, дорациональный период, и поэтому тоже мифологична. Эта исторически естественная мифология основана на «иерархической» инверсии — приведение старшего в статус неважного, глупого, младшего. Так, в русских сказках дурак «обычно последний по времени (младший) и по важности (худший) из братьев, затем правда становящийся первым, лучшим»¹².

2.2. Первый, второй, третий человек — концепция Армена Григоряна. Обращаясь к триадам Айрапетяна, в частности к триаде говорящего (мировой человек), слушате-

⁸ А.З. Штейнберг, *Система свободы Достоевского*, YMCA-PRESS, Paris 1980, с. 14.

⁹ В. Айрапетян, *Толкуя слово...*, в52, в521.

¹⁰ Там же, в521.

¹¹ М. Бахтин, *Формы времени и хронотопа в романе // того же, Собрание сочинений*, т. 3, Языки славянских культур, Москва 2012, с. 400–401.

¹² А. Григорян, *Первый, второй и третий человек*, Языки славянских культур, Москва 2014, с. 45.

ля (частная личность) и толкователя (посредника между ними), Армен Григорян вводит категории первого, второго и третьего человека как главные архетипические фигуры: «первый — создатель, второй — погубитель (в том числе и себя самого), третий — спаситель»¹³. Такой порядок возникает в эпиметеевом измерении, при последовательном «обратном развитии» и переходе от слова к мысли. В прометеевом же измерении такое восхождение к прошлому трактуется негативно: как регресс и возврат к мифу, проявление консервативных идеологий, авторитаризма и т.д.

Итак, первому человеку приписываются черты творца мира и основателя мифа, основоположника традиции и законодателя нового культурного порядка, начала новой истории. Важным критерием первого является то, что сам он оказывается вне истории и процесса, им порожденного. Второй человек выступает как разрушитель и завоеватель, а также как систематизатор и аналитик; классический пример: первый Моцарт и второй Сальери. Различаются первый как старший: «Адам, Пуруша, Ной», и первый как главный / лучший: «Шекспир, Пушкин, гений, герой, царь, вождь, любой руководитель, лидер, 'звезда' (экрана, эстрады, спорта), чемпион»¹⁴.

Этому делению соответствуют и понятия первичного и вторичного автора у Владимира Библихина. Русский философ выводит первичного автора за скобки истории — это «*natura non create*», «вещий пророк», имеющий «авторитет» и вещающий «прямым словом», а вторичный автор — писатель и поэт в историческом процессе, он вторит пророку, истолковывая то, о чем ныне молчат пророки:

Первичный автор, говорящий только прямым языком, через человека-писателя таким, а значит и никаким словом говорить не может. [...] В писателе, вторичном авторе, затаенное молчание на месте невозможного прямого слова не слышно за косвенной речью¹⁵.

Второй человек у Григоряна создает пару первому и концептуализируется как «друг, враг, помощник, советник, замести-

¹³ Там же, с. 22.

¹⁴ Там же, с. 13.

¹⁵ В. Библихин, *Слово и событие. Писатель и литература*, Университет Дмитрия Пожарского, Москва 2010, с. 76.

тель, секретарь, последователь, подражатель, двойник, дублёр, ученик, поклонник, 'фанат'»¹⁶. Если «всё связанное с первым человеком очень легко мифологизуется», то второй человек выступает как «принципиальный демифологизатор, разоблачитель мифов», впадающий при этом в «миф об отсутствии мифов, о полной логичности и рациональности всего существующего»¹⁷.

Роль третьего человека сложнее, чем роли первого и второго. Григорян определяет третьего как личность особого склада — посредника, «продолжателя», цель которого преодолеть «отступника» и восстановить «основоположника», примирить автономность и мифологичность первого человека с системностью и рациональностью второго. Третий человек, проходя путь второго, восстанавливает первого, третий — это второй первый: «Ведь третий это **второй** (новый, другой) **первый**, как бы первый»¹⁸, или иначе: «третий человек это первый, вооружённый опытом второго (или второй, возродивший в себе первого)»¹⁹.

2.3. «Порождающий миф» русской литературы. Ситуация первого, второго и третьего человека иллюстрируется анализом, проводимым Сергеем Бочаровым в статье *Холод, стыд и свобода* (2005 г.). Рассматривая литературную полемику между Федором Достоевским и Николаем Гоголем в романе *Бедные люди*, русский литературовед реконструирует ситуацию «порождающего мифа» европейской культуры (библейское сказание о рае). Суть полемики — в интерпретации типа маленького человека. В статье утверждается мысль, что для Достоевского гоголевский тип маленького человека (Акакий Акакиевич Башмачкин в повести *Шинель*) антигуманен и нарушает гармонию и человеколюбие, проявленное при создании образа Самсона Вырина (героя пушкинского *Станционного смотрителя*); его главный герой Макар Деушкин, персонаж, обладающий самосознанием, неожиданно «порывает» с Гоголем. Бочаров осмысливает этот шаг в глобальных категориях: мифа и истории человеческого бытия, истории русской философской мысли и телеологии литературного процесса. По мнению исследователя, «автор *Бедных людей* замкнул движение литературы 'в не-

¹⁶ А. Григорян, *Первый, второй и третий человек...*, с. 13.

¹⁷ Там же, с. 15.

¹⁸ Там же, с. 388.

¹⁹ Там же, с. 397.

которое законченное целое', выстроил, дал ей метасюжет и со-общил ей новое движение, повернул на собственный путь»²⁰. Восстанавливая традицию Пушкина, нарушенную Гоголем, Достоевский сознательно строит

сюжет родной литературы как телеологическую связь, целенаправленный путь (к нему, 'новому писателю', целенаправленный — и к его новому герою, хоть и такому 'бедному', но от того не менее *новому*)²¹.

То есть Достоевский не столько отказался от учительства Гоголя (основателя «натуральной школы»), сколько создал свой «порождающий миф», который имел огромное значение для последующего развития литературы; так, не без влияния Достоевского, выделяются две линии в истории русской литературы: пушкинская и гоголевская. Для Григоряна в этой двоякости заключена идея «первочеловеческих» и «второчеловеческих» свойств каждого из писателей, подкрепленная мнениями русских мыслителей Василия Розанова, Дмитрия Мережковского, Николая Бердяева и других. Третьим в «порождающем мифе» оказывается Достоевский, восстанавливающий (главное слово в статье Бочарова) достижения первого и примиряющий первого и второго: «Достоевский был вторым Гоголем, то есть его талантливый эпигоном ('двойником'), пока сам не стал первым человеком»²², а точнее «вторым первым», третьим.

3.1. Миф и история — парадокс революционного мышления. Хотя Вардан Айрапетян не указывает связи революционного мышления (мысль-слово-дело) с революциями, в русской литературе эта связь прощупывается вполне очевидно. Армен Григорян проводит идею, что революционное движение вызвано в т о р ы м и людьми, имеющими отношение к литературе, а «'отцы' русского нигилизма были литературными критиками и неудавшимися беллетристами»²³. С именами Белинского, Добролюбова, Герцена, Некрасова, Чернышевского, Писарева, Салтыкова-Щедрина — заметим, все они личности «прометеева» типа, с приоритетом мысли над словом (если под послед-

²⁰ С. Бочаров, *Холод, стыд и свобода. История литературы sub specie Священной истории* // того же, *Филологические сюжеты, Языки славянских культур*, Москва 2007, с. 221.

²¹ Там же, с. 212.

²² Там же, с. 197.

²³ А. Григорян, *Первый, второй и третий человек...*, с. 267.

ним понимать художественную форму), — обычно связывают появление новых тенденций: рассудочности, идеи прогресса, демократической критики и критицизма, публицистики, натурализма, позитивизма, реализма, сатиры, идеологии. Именно они внесли понятие идейности литературы, поставили проблему ее утилитарности, при них литература концептуализировалась как среда, процесс, история и публицистика, став ареной великой битвы идей и идеологий. История интеллигенции находит свое кульминационное выражение в работе филолога Иванова-Разумника (Разумник Васильевич Иванов) *История русской общественной мысли* (1906). Эта книга — пример того, как «на историю литературы проецировали историю России»²⁴, а литературные процессы оценивались под знаком борьбы «светлых» и «темных» сил, косных мещан и прогрессивной интеллигенции. «При этом — замечает Галковский — творчество Пушкина или Достоевского всячески принижается, а писания Белинского, Михайловского или Чернышевского, действительно крепко связанных с подрывным движением, непомерно раздуваются»²⁵. В результате усиленного исторического подхода к литературе она вновь мифологизуется и сакрализуется: «Русская литература — Евангелие русской интеллигенции»²⁶.

Возникает при этом своего рода «парадокс революции», вызванный забвением или отказом от предшествующего периода²⁷: миф сменяется историей, в основе которой находится идея прогресса (и ухода от старого), а прогресс приводит к революции (как радикальной стадии поступательного развития), в ходе которой происходит отмена предыдущего времени и установление новой мифологии. При внимательном изучении данного периода можно выделить эксцессы «революционного мышления», приводящие к мифотворческому анахронизму, забвению прошлого, чувству «собственной исключительности», приоритету критицизма над поэзией, переоценке ценностей с

²⁴ Д. Галковский, *Бесконечный тупик...*, с. 49.

²⁵ Там же, с. 52.

²⁶ Иванов-Разумник, *История русской общественной мысли*, т. 1, Типография М.М. Стасюлевича, Санкт-Петербург 1911, с. 14.

²⁷ Обратное явление «парадокса новизны», когда поэт «в откровенной и последовательной традиционности ищет способа предельной концентрации новизны, через повтор обнажает смысл неповторимого» — М. Эпштейн, *Парадоксы новизны: О литературном развитии XIX–XX веков*, Советский писатель, Москва, 1988, с. 121–122.

позиции «злости дня», к люстрации предшествующего периода под знаком той или иной идеи — вплоть до попыток «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности»²⁸. Это явление назовем прогрессивной мифологией, в ней формула младшее как главное дополняется отказом от старшего — младшее есть главное без старшего. В то же время возвращение к старому может быть определено как регрессивная мифология (если имеем дело с мифотворческим мышлением, с формулой главное есть старшее) и герменевтическая реконструкция (если речь идет о восстановлении старшего как главного с учетом младшего).

3.2. Лермонтов как младший и лучший. Прогрессивная мифология впервые ярко проявилась в паре двух поэтов: Пушкин — Лермонтов. Известно, что имя Лермонтова широкой публике открыл Виссарион Григорьевич Белинский, известный критик и «прогрессист», но он же внес идею преемственности, соревновательности, внес — говоря словами Андрея Битова — «легенду о прогрессивной преемственности, о дружбе великих людей, об эстафете мысли и Прометеевом огне»²⁹. Так, описывая «дьявольский» талант, «могущественную натуру», «исполинский взмах», «демонский полет» автора *Героя нашего времени*, Белинский указывает и на прогрессивные стороны его таланта: «по содержанию шагнул бы дальше Пушкина»³⁰. Младший поэт может оказаться лучшим, и исключительным. Отсюда действительно «один шаг», но только, как пишет Борис Эйхенбаум,

до того положения, которое создалось в 60-х годах [XIX века — Р.Ш.], когда разрешалось писать стихи только Некрасову, если он уж никак не может выразить свои мысли иначе, а Пушкин был осмеян и отброшен, как пустой набор слов³¹.

²⁸ Д. Бурлюк, А. Крученых, В. Маяковский, В. Хлебников, *Пощечина общественному вкусу* // В.В. Маяковский, *Полное собрание сочинений*, в 12 т., т. 1, Художественная литература, Москва 1939, с. 399.

²⁹ А. Битов, *Пушкинский дом* // того же, *Империя в четырех измерениях*, Фортуна Лимитед, Москва 2002, с. 353.

³⁰ В.Г. Белинский, *Выдержки из писем и статей [о Лермонтове]* // М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников, Художественная литература, Москва 1989, с. 302.

³¹ Б. Эйхенбаум, *Лермонтов: Опыт историко-литературной оценки*, Государственное издательство, Ленинград 1924, с. 14.

Популярность Николая Некрасова, о котором вспоминает Эйхенбаум, также явление прогрессивной мифологизации, в результате которой Пушкин оттесняется в область «чистого искусства», становясь достоянием филологов, а главное место поэта-основоположника занимает идейный борец, революционер, гражданин. В своей речи на открытии памятника в 1880 году Иван Сергеевич Тургенев замечает, что Пушкин устарел в новую политическую эпоху, став анахронизмом в отношении к «последовавшим поколениям». Для нового поколения, для новых идей

миросозерцание Пушкина показалось узким, его горячее сочувствие нашей, иногда официальной, славе — устарелым, его классическое чувство меры и гармонии — холодным анахронизмом³².

Интересно, что этому «упадку» Тургенев противопоставляет непрекращающийся рост: «[...] падает, рушится, только мертвое, неорганическое. Живое изменяется органически, ростом. Россия растет, не падает»³³. Напомним, что рост в герменевтике Айрапетяна относится к эпиметееву порядку: «русское 'языческое' возвратное развитие, по происхождению оседлый, женский, растительный, островной рост вверх на месте»³⁴. В своей речи Тургенев возрождает значение Пушкина-начинателя, противопоставляя его идеям прогрессивного развития.

Но и сам Лермонтов, в своем пламенном послании на смерть Пушкина, создает прецедент мифологической аберрации прогрессивного мышления. Оспаривая распространенную идею о том, что «Пушкин — жертва»³⁵, Юрий Михайлович Лотман доказал, что в упомянутых стихах Лермонтов возводит образ Пушкина не к самому поэту, а к его персонажу Ленскому:

(У)же в знаменитом стихотворении Лермонтова поставлен знак равенства между Пушкиным и Ленским, чем была заложена основа романтической легенды о гибели поэта. Загнанный, затравленный, измученный, он

³² И.С. Тургенев, *Речь по поводу открытия памятника А.С. Пушкину в Москве* // того же, *Собрание сочинений. В 12-ти томах*, т. 12, Наука, Москва 1986, с. 347.

³³ Там же, с. 348.

³⁴ В. Айрапетян, *Толкуя слово...*, д5462.

³⁵ Ю.М. Лотман, *Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960–1990*; Его же, *Евгений Онегин: Комментарий*, Искусство-СПб, Санкт-Петербург 1995, с. 182.

был погублен мощными силами социального зла — противниками, которым одинокий поэт мог противопоставить только гибель³⁶.

В силу такого романтического прочтения Пушкина, мировоззренчески и поэтически преодолевшего романтические схемы, создается перенос внимания на младшего поэта-романтика, ср.: «сколь велик был и горд человек, так разговаривающий с сильными мира»³⁷, — так Василий Шукшин высказался о Лермонтове, — а исходный текст (Пушкин) оказывается полностью вымазан усиленной интерпретацией.

3.3. Тютчев как второй. Герой романа Андрея Битова *Пушкинский дом* (написан в 1964–71 гг., первое издание — 1987 г.), молодой ученый-филолог, интерпретирует поэтическую систему младшего (всего на три года) современника Пушкина с точки зрения качеств Сальери: зависти, скрытности, двоякости, мистичности. Здесь Битов обращается (по его словам, не ведая об этом) к статье Юрия Тынянова 1926 года, в которой роль Федора Тютчева (1803–1873) рассмотрена в аспекте личных взаимоотношений с Пушкиным (1799–1837): «Рядом с Пушкиным, не отходя от него ни на шаг, живет и развивается его двойник, его тень — ‘Пушкин в веках’»³⁸. Тыняновская статья была в свое время раскритикована, но она интересна тем, что опять же выявляет прогрессивную идею преемственности, с противоположным знаком: заменяя дружбу великих людей их враждой, а нигилизм направляя не к первому, а ко второму поэту.

Армен Григорян, цитируя «второчеловеческие» высказывания Битова о Тютчеве, тем не менее возражает: интерполяция личностных отношения на поэтическую систему Тютчева у Битова и Тынянова неправомерна. Однако единственный аргумент, который Битов так и не привел, — знаменитая тютчевская фраза «Мысль изреченная есть ложь», — явно соотносится со статусом второго человека, для которого мысль первична и главнее слова, а слово — ложь: «Это ведь апология мысли против слова»³⁹. Тогда как слово первого человека — правда.

³⁶ Там же, с. 182.

³⁷ В. Шукшин, *Собрание сочинений в пяти томах*, т.1, Вента, Бишкек 1992, с. 210.

³⁸ Ю.Н. Тынянов, *Пушкин и Тютчев // того же, Пушкин и его современники*, Наука, Москва 1969, с. 166.

³⁹ А. Григорян, *Первый, второй и третий человек...*, с. 200.

Случай битовского героя и Тынянова, во многом общий, показывает своего рода реакцию против самого явления прогрессивной мифологии: в их случае второй поэт неоправданно демонизируется и сталкивается с первым. К чести Битова следует сказать, что он разрушает мифотворческую ситуацию, выявляя нигилизм самого борца с нигилизмом, показывает, что его герой впадает в противоречивую ситуацию революционного борца — «своего рода сальеризм борцов с Сальери»:

Почему же такое стремление занять место свергнутого? Тот (свергаемый) хоть утверждал в соответствии с занимаемым им в пространстве и времени местом. Его утверждение и его место столь едины, что отрицать утверждение можно лишь вместе с его местом. Парадоксально отрицать одну половину, желая вторую... В этом смысле любая выраженность отрицания удивительна. [...] Ненавидя несправедливость, начинают восстанавливать справедливость по отношению к незначашему и отмершему, на пути к этому восстановлению верша походя несправедливость по отношению к чему-то живому...⁴⁰.

4. Миф о Толстом. Второй человек не означает интеллектуальную или творческую ущербность, наоборот — усиленную работу мысли, нарочитую философичность и религиозность, стремление учить, проповедовать. В книге Григоряна глава *Толстой как второй человек* составлена из трех развернутых цитат Василия Розанова, Николая Бердяева и Томаса Манна, писавших о духовной дряхлости, рассудочности и интеллектуальном нигилизме автора *Войны и мира*⁴¹.

Но эти высказывания о Толстом как втором человеке разительным образом противоречат тому влиянию, которое он оказал на умы современников и потомков. В основе этого влияния просматриваются мифотворческие тенденции — и прежде всего желание Толстого стать первым человеком, «сначала светским, а затем мировым человеком»⁴² — художником, философом, идеологом, властителем умов, разрушив тем самым систему, в которой Толстой пребывает как второй человек и младший современник. А на место первого его ставили многие. Дмитрий Мережковский сравнил его с «древнебиблейским патриархом», едва ли не первочеловеком: «Лицо его — лицо

⁴⁰ А. Битов, *Империя в четырех измерениях*, Фортуна Лимитед, Москва 2002, с. 354.

⁴¹ А. Григорян, *Первый, второй и третий человек...*, с. 188–89.

⁴² В. Айрапетян, *Толкуя слово...*, бз18.

человечества»⁴³, и поставил его по существу перед Достоевским в книге *Толстой и Достоевский*. Склонны откровенно предаваться исторической инверсии Владимир Набоков и Василий Шукшин. Первый, крайне субъективный в своих оценках, ставил Толстого перед Гоголем, Чеховым и Тургеневым (в такой последовательности)⁴⁴. Второй же бессознательно подчинился обаянию «патриарха» и поставил его в основание всей русской литературы:

Патриарх литературы русской — Лев Толстой. Это — Казбек или что там? — самое высокое. В общем, отец, Пушкин — сын, Лермонтов — внучек, Белинский, Некрасов, Добролюбов, Чернышевский — племянники. Есенин — незаконнорожденный сын⁴⁵.

Из перечисленных писателей Толстой младше Пушкина, Белинского, Лермонтова, Тургенева, Некрасова и даже — на три месяца — Чернышевского. «Достоевский, между прочим, старше, хотя Толстой его сильно пережил»⁴⁶ — задумывается Андрей Битов над эффектом «старости» Толстого и невозможной его «молодости»: «Может, он всю жизнь старался быть старше — оттого и борода... Кто из титанов младше Толстого? ‘Никого!’»⁴⁷.

Но в мифе о Толстом пересекаются различные линии. С одной стороны, в личности Толстого проявлялось желание первого человека (по Григоряну) создать свою собственную вселенную, стать в центре мироздания. В этом плане закономерным выглядит упрек Эвы Томпсон в сознательной идеализации прошлого в романе-эпопее *Война и мир* (хотя подобная идеализация — свойство самого эпического жанра) — в частности, образов Платона Каратаева или Наташи Ростовской, гармонично сочетавшей народность и светскость⁴⁸. Очевидным мифообразующим фактором следует

⁴³ Д. Мережковский, *Было и будет. Дневник 1910–1914*, Труд, Петроград 1915, с. 17.

⁴⁴ В. Набоков, *Лекции по русской литературе*, пер. с английского и французского, Независимая газета, Москва 1999, с. 215.

⁴⁵ В. Шукшин, *Нравственность есть Правда*, Советская Россия, Москва 1979, с. 293.

⁴⁶ А. Битов, *Апология Моськи, или о критериях и масштабах* // Его же, *Пятое измерение*, Рубеж, Владивосток 2007, с. 28.

⁴⁷ А. Битов, *Начатки астрологии русской литературы* // Там же, с. 336.

⁴⁸ Е.М. Tompson, *Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm*, przeł. A. Sierszulska, UNIVERSITAS, Kraków 2000, с. 155–157. Перевод польскоязычных текстов наш — Р.Ш.

признать самообожествление Толстого, замеченное еще Достоевским⁴⁹, а позднее подтвержденное Дмитрием Галковским⁵⁰.

С другой стороны, как человек своего времени он выступил в качестве разоблачителя и критика — в том числе и имперской колониальной политики в повести *Хаджи-Мурат*, судебной и церковной систем в романе *Воскресение*. Интересна тотальная, нигилистическая критика Толстым условности искусства и жизни, связанная с приемом «остранения» (термин Виктора Шкловского, восходящий к любимому философскому учителю Толстого Марку Аврелию)⁵¹. Известные сцены балета в *Войне и мире* или литургии в *Воскресении* написаны в остранении, но и в отстранении от конвенциональных, устоявшихся в культуре представлений. В этой связи вполне правомерен вопрос, с каких позиций художник Толстой отказывает искусству и культуре в праве быть — не с позиций ли оторванного от земного бытия Марио-Марсианина, по Эрику Бернсу, или с позиции дикаря, согласно Вольтеру? В своем критицизме Толстой не менее прогрессивен, как отмечают это Ленин или Томпсон, выделяющие в нем «второчеловеческие» качества: «горячий протестант, страстный обличитель, великий критик»⁵². Но отсюда же и «дикарский», первобытный мифологизм, возникающий из желания разрушить условность искусства и жизни других, кроме своей собственной.

5. Достоевский как мифотворец. Если личность Толстого легко мифологизуется, то это трудно сказать о Достоевском, который выступил как мифотворец, причем преимущественно регрессивного толка, уводящий в область национальных архетипов.

Пушкинская речь Достоевского названа «евангелием русского консерватизма»⁵³, идеализировавшим отсталость русского

⁴⁹ Ср.: «До чего человек возобождал себя (Лев Толстой)» — *Неизданный Достоевский: Записные книжки и тетради 1860–1881 гг. Литературное наследство*, т. 83, Наука, Москва 1977, с. 699.

⁵⁰ Ср.: «Самому Толстому мечталось, что он Бог (скромно говорил ‘мое Евангелие’)» — Д. Галковский, *Бесконечный тупик...*, с. 393.

⁵¹ К. Гинзбург, *Остранение: Предыстория одного литературного приема*, «Новое литературное обозрение» 2006, № 80, <http://magazines.russ.ru/nlo/2006/80/gi2.html> (29.01.2016).

⁵² «Лев Толстой как зеркало русской революции» и другие работы В.И. Ленина о Л.Н. Толстом, http://www.patriotica.ru/history/lenin_tolstoy.html (29.01.2016).

⁵³ И. Тхоржевский, *Пушкинская речь Достоевского*, «Возрождение» [Париж] 1949, № 3, http://www.yabloko.ru/Publ/2008/2008_10/081023_dost_push.html (29.01.2016).

крестьянства. Но ее можно назвать герменевтическим манифестом — в ней автор раскрывает такие стороны отверженного идеологическим мейнстримом поэта, которые имеют отношение к основным свойствам русской ментальности.

Интересно, что раскрывая генезис концепции всечеловечества, Анджей де Лазари показывает, что для Достоевского это понятие было «последним словом и последнею целью человечества»⁵⁴. Согласно этому автор *Речи о Пушкине*, пытаясь выйти за рамки национальной идентификации, придерживался идеи прогрессивного развития и прогрессивной мифологии. И здесь имеет смысл утверждение, что «Достоевский в своем мировоззрении поздний романтик», если учесть, что «романтизм принес также идею 'избранности' — народа-выразителя Разума Истории или же народа-мессии»⁵⁵.

В этой связи объясним анахронизм — тактический ход прогрессивного мифотворца, который позволяет себе автор *Бесов*. В предпоследнем абзаце речи появляется образ Христа из стихотворения Федора Тютчева 1855 года (как мы уже цитировали — теневого двойника Пушкина): «Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю 'в рабском виде исходил благословляя' Христос»⁵⁶. Объясняя младшим Тютчевым старшего Пушкина, Достоевский соединяет с Пушкиным идею взаимного непонимания и изоляции Востока и Запада. Именно такую мысль можно вычитать в процитированном стихотворении *Эти бедные селенья*, где для «взора иноплеменного» остаются непонятными «нищета смиренная», «край долготерпенья» и «бедные селения». Но такое прочтение вопиющим образом противоречит констатированной в самом начале *Речи* «всемирной отзывчивости» русского поэта, ставшего зеркалом «всепонятного» Шекспира или Шиллера.

В первой же части своего выступления Достоевский устанавливает иную, консервативно-эпиметееву перспективу: называя Пушкина «братом всех людей, всечеловеком», он наделяет его архаическим, дохристианским пониманием целостности, чертами «первого как старшего»; Пушкин объявляется проро-

⁵⁴ А. де Лазари, *В кругу Достоевского. Почвенничество*, пер. с польского М.В. Лескинен, Н.М. Филатова, Наука, Москва 2004, с. 82.

⁵⁵ Там же, с. 195.

⁵⁶ Ф. Достоевский, *Пушкин (очерк)* // того же, *Полное собрание сочинений*, т. 26, Наука, Ленинград 1984, с. 148.

ком⁵⁷, а пророки предшествовали явлению мессии. По мнению Григоряна, слово всечеловек отсылает к мифологическому коллективному первочеловеку, первому Адаму, символически представляющему все человечество. «Вдвигая» Пушкина в мифологическое начало, Достоевский утверждает идею русского как первочеловека⁵⁸, а Пушкина как главного русского человека. Первый как главный, напомним, не означает превосходства над всеми, а скорее особую способность идентифицировать другого. По Алексею Ухтомскому, Пушкин «в самом деле, всечеловек, обнимающий своей широкой душой всякого человека»⁵⁹. А способность «революционизироваться» в каждого и «отзывчивость» всечеловека для Вардана Айрапетяна означает способность русского человека всё понять — Пушкин и реализует такую возможность: «говоря не от себя как толкователь на службе у говорящего, весь совпадает с другими»⁶⁰.

В пользу аналогии всечеловека и первочеловека свидетельствует гипотеза Цезары Водзиньского: Достоевский, по инерции Раскола, постоянно подвергает «демонтажу конститутивное для христианства различие между добром и злом»⁶¹. А учитывая и «парадокс Инквизитора», можно сказать, что упраздняется церковная догматика и церковная иерархия как точка отсчета такого различения, а вместе с ней — идеи поступательного развития и прогрессивной мифологии.

Тем самым допускается «иерархическая» инверсия регрессивного мифа: Пушкин из поэта и «основоположника русского литературного языка» превращается в пророка, «мирового человека» русских интеллигентов (Айрапетян), в «образец, идеальный тип, архетип, из которого можно вывести творчество других крупнейших русских писателей»⁶².

Замечательно, но идея русского всечеловека для Достоевского полна амбивалентных смыслов: она возвеличивает русского как тип, но и ниспровергает его. Обратим внимание на «мессианские» качества, прямо скажем: неземные. Пушкин наде-

⁵⁷ Ф. Достоевский, *Пушкин (очерк)*..., с. 147.

⁵⁸ А. Григорян, *Первый, второй и третий человек*..., с. 241–242.

⁵⁹ А. Ухтомский, *Интуиция совести: Письма. Записные книжки. Заметки на полях*, Петербургский писатель, Санкт-Петербург 1996, с. 260.

⁶⁰ В. Айрапетян, *Толкуя слово*..., д5842.

⁶¹ С. Wodziński, *Trans, Dostojewski, Rosja czyli o filozofowaniu siekierq, słowo/obraz terytoria*, Gdańsk 2005, с. 56.

⁶² А. де Лазари, *В кругу Достоевского*..., с. 160.

ляется «всемирной отзывчивостью» и «изумляющей полнотой перевоплощения», «переменчивостью», «всечеловечностью», «всемирностью»⁶³. И это все игровые и творческие качества первого человека, который не знает ни конкурентов, ни собственных неудач. Но эти достоинства легко переосмыслить, и тогда они свидетельствуют о подражательности и лицедействе русского человека («Пушкин лишь один из всех мировых поэтов обладает свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность»⁶⁴), о юродстве, карнавализации и мениппее (учтем позднюю трактовку Бахтина), о собственной безличности «брата всех людей» (ведь если брат всех людей, то о какой индивидуализации может быть речь?) и, в конце концов, о том, что личностное начало в русском человеке слабо развито. Прав Михаил Берг, считающий, что «‘всемирная отзывчивость’ Пушкина, скорее, имеет отношение к его функциям адаптации мировой культуры в поле культуры русской, а не наоборот»⁶⁵. Это Пушкин «отзывается» эхом на мир, разрастаясь в огромный орган самосознания. Абрам Терц (Андрей Синявский) увидел за всеми этими трикстерскими и карнавальными масками «универсального человека Никто»⁶⁶. Не будем забывать, что и Пушкин сказал о поэзии, что она «должна быть глуповата»⁶⁷, а Дмитрий Галковский обнажил архетип литературы, «самого лживого вида искусства»:

Архетип писателя — деревенский враль. Профессиональный лгун, ложный философ. Философ, который лжёт. Причём лжёт вдохновенно. Это даже не софист с его отстранённой ложью, ложью, разъятой правдой, — нет, это лгун «от Бога»⁶⁸.

Это трикстерское выворачивание наизнанку священного в России статуса — писателя-пророка — также вписывается

⁶³ Ф. Достоевский, *Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже Речи о Пушкине* // того же, *Полное собрание сочинений*, т. 26, Наука, Ленинград 1984, с. 130.

⁶⁴ Там же, с. 145–146.

⁶⁵ М. Берг, *Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе*, Новое литературное обозрение, Москва 2000, с. 31.

⁶⁶ Абрам Терц (Андрей Синявский), *Прогулки с Пушкиным*, ООО «Центр книги Рудомино», Москва 2005, с. 8.

⁶⁷ А.С. Пушкин, *Письмо Вяземскому П.А., вторая половина (не позднее 24 мая) 1826 г.* // того же, *Полное собрание сочинений: В 10 т.*, т. 10, Наука, Ленинград 1979, с. 160.

⁶⁸ Д. Галковский, *Бесконечный тупик...*, с. 910.

в достоевскую концепцию всечеловека: ведь он включает в себя и высокое, и низкое, серьезное и пародию — всё. Для объяснения идеи русского всечеловека подошел бы образ юродивого, десакарализованного Христа, «князь Христос», а не Христос тютчевского стихотворения. Один из знаменитых художественных образов Достоевского в высшей степени амбивалентен, соотносясь, с одной стороны, с образом Христа, а с другой — с дураком. Таким образом, стараясь примирить различные идеологические лагеря и их острую борьбу в идее всечеловечества, Достоевский (как третий) выбирает для этого не разум и не Бога, а среднее — поэта, «лгуна от Бога».

Кстати, по поводу финального Христа в очерке Достоевского сразу же вспоминается странное видение Христа «в белом венчике из роз» в финале «революционной» поэмы Александра Блока *Двенадцать*. Об этом Христе как о подмене пишет Сергей Бочаров: «а не увидел ли в петербургской метели поэт двойника-самозванца?»⁶⁹. Очевидно, что и у Достоевского строка тютчевского стихотворения появляется как «приписка», позднее добавление, свидетельствующее о желании подвести младшее явление под старший идеал.

6. Выводы, которые можно сделать в применении к филологической герменевтике, показывают, что обращение к мифологизму имеет различный характер — сакрального для русской культуры прошлого и мнимо-реалистичной прогрессивности литературоцентристского сознания. Регрессивный миф возникает по факту своей принадлежности прошлому, прогрессивный — в результате подмены и смешения исторического и литературного процессов. Само понятие литературного процесса связано со «средним уровнем» (Галковский), «вторыми» людьми (Григорян) и парадоксальным образом исключают из него яркие литературные явления — «первых» людей, основоположников и творцов, в силу чего первые люди обрастают мифами (миф о Пушкине, миф о Толстом).

Обращенность Достоевского к качествам первого человека: чуду, гениальности, к неканоническому Христу, образу идиота-юродивого — призваны существенным образом переориентировать литературный процесс, уравновесить внимание к конечной эсхатологической цели — революции не менее ярким и внеи-

⁶⁹ С. Бочаров, *Генетическая память русской литературы // того же, Филологические сюжеты, Языки славянских культур*, Москва 2007, с. 547.

ПРОГРЕССИВНЫЕ И РЕГРЕССИВНЫЕ МИФЫ...

сторическим началом и причиной — Пушкиным и концепцией всечеловечества. Пушкин в представлениях Достоевского не идеализируется как бог и мессия, а универсализирует герменевтическую способность русского человека понимать всё и толковать по-русски. Достоевский, примиряя «великую тайну» Пушкина, загадку, которую «мы без него разгадываем»⁷⁰, с поисками русской интеллигенции, дает понять, что обращение к началу и возвращение к прошлому становится непреложным условием развития и соотносится с углублением русского самосознания.

Roman Szubin

PROGRESYWNE I REGRESYWNE MITY LITERATURY ROSYJSKIEJ

Streszczenie

Niniejszy artykuł jest poświęcony badaniom z zakresu rosyjskiego literaturocentryzmu. Autor rozpatruje najbardziej wyraziste momenty kształtowania się mitów w literaturze rosyjskiej, w tym tzw. mitu Puszkina, mitu o pochodzeniu (*origin-myth*) Dostojewskiego. Wprowadzone zostaje określenie mitów regresywnych i progresywnych — jest ono związane z orientacją mitotwórczej świadomości od terażniejszości ku przeszłości oraz od przeszłości ku terażniejszości. Demitologizacja związana jest w rozumieniu autora z interpretacją mitu, zachowującą jego „przyjazne» rozumienie. Zastosowana metoda badawcza wypracowana została w hermeneutycznych badaniach Wardana Hayrapetyana i Armena Grigoryana opartych na pracach rosyjskich hermeneutów: Michała Bachtina, Władimira Bibichina i Sergeja Boczarowa.

Roman Szubin

PROGRESSIVE AND REGRESSIVE MYTHS OF RUSSIAN LITERATURE

Summary

This article is devoted to research in the field of Russian literature-centrism. Considered the most prominent moments of mythopoeia in Russian literature: the so-called «myth of Pushkin», «origin-myth» of Dostoevsky. We introduce a new definition of *regressive* and *progressive* myths associated with the thrust of the myth-creating consciousness from the present to the past and from the past to the present. The author dwells on the hermeneutic approach to the myth, for which the principal is demythologization through the interpretation of the myth that preserves «friendly» his understanding. This method is based on the hermeneutical research philologists Vardan Hayrapetyan and Armen Grigoryan, and relies on the work of Russian scholars and thinkers hermeneutical sense Mikhail Bakhtin, Vladimir Bibikhin, Sergey Bocharov.

⁷⁰ Ф. Достоевский, *Пушкин (очерк)...*, с. 149.